




## КНИГА ПЕРВАЯ

 **В**от я сплету тебе на милетский манер<sup>1</sup> разные басни, слух благосклонный твой порадую лепетом милым, если только соблаговолишь ты взглянуть на египетский папирус, исписанный острием нильского тростника<sup>2</sup>; ты удивишься на превращения судеб и самих форм человеческих и на их возвращение вспять, тем же путем, в прежнее состояние. Я начинаю.

— Но кто он такой? — спросишь ты.

Выслушай в двух словах.

Аттическая Гиметта<sup>3</sup>, Эфирейский перешеек<sup>4</sup> и Тенара Спартанская<sup>5</sup>, земли счастливые, навеки бессмертие стяжавшие еще более счастливыми книгами, — вот древняя колыбель нашего рода. Здесь овладел я аттическим наречием, и оно было первым завоеванием моего детства<sup>6</sup>. Вслед за тем прибыл я, новичок в науках, в столицу Лациума<sup>7</sup> и с огромным трудом, не имея никакого руководителя, одолел родной язык квиритов<sup>8</sup>.



Вот почему прежде всего я умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом стиле чужеземные и простонародные выражения. Но ведь само это чередование наречий соответствует искусству мгновенных превращений, а о нем-то я и собирался написать. Начинаем греческую басню<sup>9</sup>. Внимай, читатель, будешь доволен.

2. Я ехал по делам в Фессалию, так как мать моя родом оттуда, и семейство наше гордится происхождением от знаменитого Плутарха<sup>10</sup> через племянника его Секста-философа<sup>11</sup>. Ехал я на местной ослепительно белой лошади, и, когда, миновав горные кручи, спуски в долины, луга росистые, поля возделанные, она уже притомилась и я, от сиденья уставший, не прочь был размять ноги, — я спешился. Я тщательно листьями отираю пот с лошади, по ушам ее поглаживаю, отпускаю узду шажком ее проваживаю, пока она усталый желудок обыкновенным и естественным образом не облегчает. И покуда она, наклонив голову набок, искала пищи по лугу, вдоль которого шла, я присоединяюсь к двум путникам, которые шли впереди меня на близком расстоянии, и покуда я слушаю, о чем идет разговор, один из них, расхохотавшись, говорит:

— Уволь от этих басен, таких же нелепых, как и пустых.

Услышав это, я, жадный до всяких новостей, говорю:

— Напротив, продолжай! Разрешите и мне принять участие в вашем разговоре: я не лютен, но хочу знать, если

не все, то как можно больше, к тому же приятный и забавный рассказ облегчит нам этот крутой подъем.

3. Тот, кто начал, отвечает:

— Э! Все эти выдумки так же похожи на правду, как если бы кто стал уверять, будто магическое нашептывание заставляет быстрые реки бежать вспять, море лениво застыть — лишиться дыханья, солнце — остановиться, луну — покрыться пеной<sup>12</sup>, звезды — сорваться, день — исчезнуть, ночь — продлиться.

Тогда я говорю увереннее:

— Пожалуйста, ты, который начал рассказ, доканчивай его, если тебе не лень и не надоело. — Потом к другому: — Ты же, заткнув уши и заупрямившись, отвергаешь то, что может быть истинной правдой. Клянусь Геркулесом, ты даже понятия не имеешь, что только предвзятые мнения заставляют нас считать ложным то, что ново слуху или зрению непривычно или кажется превышающим наше понимание; если же посмотреть повнимательнее, то обнаружишь, что все не только для соображения очевидно, но и для исполнения легко.

4. Вот вчера вечером едим мы с товарищем пирог с сыром наперегонки, и хочу я проглотить кусок чуть побольше обычного — как вдруг кушанье, мягкое и липкое, застревает в горле, до того у меня в глотке дыханье сперло — чуть не умер. А между тем недавно в Афинах, у Пестрого



портика<sup>13</sup>, я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз преострейший кавалерийский меч. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копье смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья, из горла фокусника торчавшего, на самый конец его, вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас, всех присутствовавших, стал извиваться в пляске, словно был без костей и без жил. Можно было принять все это за узловатый жезл бога врачевания<sup>14</sup> с полутрубленными сучками, которой обвила любовными извивами змея плодородия.

— Но полно! Докончи, прошу тебя, товарищ, историю, что начал. Я тебе один за двоих поверю и в первой же гостинице угощу завтраком: вот какая награда тебя ожидает.

5. А он ко мне:

— Что предлагаешь, считаю справедливым и хорошим, но мне придется начать свой рассказ сызнова. Прежде же поклянусь тебе Солнцем, этим всевидящим божеством, что рассказ мой правдив и достоверен. Да у вас обоих всякое сомнение пропадет, как только вы достигнете ближайшего Фессалийского города: там об этой истории только и разговору, ведь события происходили у всех на глазах. Но наперед узнайте, откуда я и кто таков. Меня зовут Аристомен, и родом я с Эгины<sup>15</sup>. Послушайте также, чем я себе хлеб добываю: объезжаю в разных направлениях Фессалию, Это-

лию и Беотию с медом, сыром или другим каким товаром для трактирщиков. Узнав, что в Гипате<sup>16</sup>, крупнейшем из городов Фессалии, продается по очень сходной цене отличный на вкус свежий сыр, я поспешил туда, собираясь закупить его весь оптом. Но, как часто бывает, в недобрый час я отправился, и надежды на барыш меня обманули. Накануне все скупил оптовый торговец Луп. Утомленный напрасной поспешностью, направился я было с наступлением вечера в бани.

6. Вдруг вижу я товарища моего Сократа! Сидит на земле, дрянной изорванный плащ только наполовину прикрывает его тело; почти другой человек: бледность и жалкая худоба до неузнаваемости его изменили, и стал он похож на тех пасынков судьбы, что на перекрестках просят милостыню. Хотя я его отлично знал и был с ним очень дружен, но, видя его в таком состоянии, я усомнился и подошел поближе.

— Сократ! — говорю, — что с тобой? Что за вид? Что за плачевное состояние? А дома тебя давно уже оплакивали и по имени окликали<sup>17</sup>, как покойника! Детям твоим, по приказу верховного судьи провинции<sup>18</sup>, назначены опекуны; жена, помянув тебя как следует, подурневши от непрестанной скорби и горя, чуть не выплакавши глаз своих, уже слышит от родителей побуждения увеселить несчастный дом радостью нового брака. И вдруг ты оказываешься здесь, к нашему крайнему позору, загробным выходцем!



— Аристомен, — ответил он, — право же, не знаешь ты коварных уловок судьбы, непрочных ее милостей и все отбирающих превратностей. — С этими словами лицо свое, давно уже от стыда красневшее, заплатанным и рваным плащом прикрыв, так что оставшуюся часть тела обнажил от пупа до признака мужественности. Я не мог дольше видеть такого жалкого зрелища нищеты и, протянув руку, помогаю ему подняться.

7. Но тот, как был с покрытой головой:

— Оставь, — говорит, — оставь судьбу насладиться досыта трофеем, который сама она себе воздвигла<sup>19</sup>. Я заставляю его идти со мною, немедленно одеваю, или, вернее сказать, прикрываю наготу одной из двух своих одежд, которую тут же снял с себя, и веду в баню; там сам готовлю мази и притирания, старательно соскребаю огромный слой грязи и, вымыв как следует, усталый, с большим трудом его, утомленного, поддерживая, веду к себе, постелью грею, пищей убажваю, чашей подкрепляю, рассказами забавляю.

Уже он склонился к разговору и шуткам, уж раздавались остроты и злословие, пока еще робкое, как вдруг, испустив из глубины груди мучительный вздох и хлопнув яростно правой рукой по лбу:

— О, я несчастный! — воскликнул он. — Предавшись страсти к гладиаторским зрелищам, уже достаточно прославленным, в какие бедствия впал я! Ведь, как ты сам

отлично знаешь, приехав в Македонию по прибыльному делу, которое задержало меня там месяцев на девять, я отправился обратно с хорошим барышом. Я был уже недалеко от Лариссы<sup>20</sup> (по пути хотел я на зрелищах побывать), когда в уединенном глубоком ущелье напали на меня лихие разбойники. Хоть дочиста обобрали — однако спасся. В таком отчаянном положении заворачиваю я к старой, но до сих пор еще видной собой кабатчице Мерое. Ей я рассказываю о причинах и долгой отлучки из дому, и страхов на обратном пути, и злосчастного ограбления. Она приняла меня более чем любезно, даром накормила хорошим ужином и вскоре, побуждаемая похотью, пригласила к себе на кровать. Тотчас делаюсь я несчастным, так как, переспав с ней только разочек, уже не могу отделаться от этой чумы<sup>21</sup>. Все в нее вса-дил: и лохмотья, что добрые разбойники на плечах у меня оставили, и гроши, что я зарабатывал, как грузчик, когда еще сила была, — пока эта добрая женщина и злая судьба не довели меня до такого состояния, в каком ты меня только что видел.





8. — Ну, — говорю я, — вполне ты этого заслуживаешь, и еще большего, если может быть большее несчастье, раз любово-страстные ласки и потаскуху потасканную детям и дому предпочел!

Но он, следующий за большим палец ко рту приложил и, ужасом пораженный:

— Молчи, молчи! — говорит. И озирается, не слышал ли кто. — Берегись, — говорит, — вещей жены!<sup>22</sup> Как бы невоздержанный язык беды на тебя не накликал!

— Еще что! — говорю. — Что же за женщина эта владычица и кабацкая царица?

— Ведьма, — говорит, — и колдунья: власть имеет небо спустить, землю подвесить, ручки твердыми сделать, горы расплавить, покойников вывести, богов низвести, звезды загасить, самый Тартар осветить!

— Ну тебя! — отвечаю. — Опустит трагический занавес и сложи эту театральную ширму<sup>23</sup>, говори-ка попросту.

— Хочешь, — спрашивает, — об одной, о другой, — да что там! — о тьме ее проделок послушать? Воспламенить к себе любовью жителей не только этой страны, но Индии, обеих Эфиопий<sup>24</sup>, даже самых антихтонов<sup>25</sup> — для нее пустяки, детские игрушки! Послушай, однако, что она сделала на глазах у многих.

9. Любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как



зверь этот, когда ему грозит опасность быть захваченным, спасается от погони, лишая себя детородных органов<sup>26</sup>; она надеялась, что и с тем случится нечто подобное, за то, что на сторону понес любовь<sup>27</sup>. Кабатчика одного соседнего, и, значит, конкурента, обратила она в лягушку. И теперь этот старик, плавая в своей винной бочке, прежних посетителей своих из гущи хриплым и любезным кваканьем приглашает. Судейского одного, который против нее высказался, в барана она обратила, и теперь тот так бараном и ведет дела. А вот еще: жена одного из ее любовников позлословила как-то о ней, а сама была беременна — на вечную беременность осудила она ее, заключив чрево и оставив зародыш. По общему счету вот уже восемь лет, как бедняжка эта, животом отягощенная, точно слоном собирается разрешиться<sup>28</sup>.

10. Это последнее злодеяние и зло, которое она многим продолжала причинять, наконец, возбудили всеобщее негодование, и было постановлено в один прекрасный день на завтра жестоко отомстить ей, побив камнями, но этот план она заранее расстроила силою заклинаний. Как пресловутая Медея<sup>29</sup>, выпросив у Креонта только денек отсрочки, все его семейство, и дочь, и самого старца, пламенем, вышедшим из венца, сожгла, — так эта, совершив над ямой<sup>30</sup> погребальные моления (как мне сама недавно в пьяном виде рассказывала), с помощью тайного насилия над божествами,



всех жителей в их же собственных домах заперла, так что целых два дня не могли они ни замков сбить, ни выломать дверей, ни даже стен пробуравить, пока, наконец, по общему уговору в один голос не возопили, клянясь священнейшей клятвой, что не только не подымут на нее руки, но придут к ней на помощь, если кто замыслит иное. На этих условиях она смилостивилась и освободила весь город. Что же касается зачинщика всей этой выдумки, то его она в глухую ночь, запертым, как он был, со всем домом — со стенами, самой почвой, с фундаментом, — перенесла за сто верст в другой город, расположенный на самой вершине крутой горы и лишенный поэтому воды. А так как тесно расположенные жилища не давали места новому пришельцу, то, бросив дом перед городскими воротами, она удалилась.



11. — Странные, — говорю, — вещи и не менее ужасные, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов, ты меня вогнал в немалое беспокойство, даже в страх, я уже не сомнения ощущаю, а словно удары ножа, как бы та старушонка, воспользовавшись услугами какого-нибудь божества, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать и, отдохнув, до света еще уберемся отсюда как можно дальше! — Я еще продолжал свои убеждения, а мой добрый Сократ уже спал и храпел всюду, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запираю комнату, проверяю засовы, потом приставляю кровать плотно к дверям, чтобы загородить вход, и ложусь на нее. Сначала от страха я довольно долго не сплю, потом, к третьей страже<sup>31</sup>, слегка глаза смыкаться начинают.

Только что заснул, как вдруг с таким шумом, что и разбойников не заподозишь, двери распахнулись, скорее были взломаны и сорваны с петель<sup>32</sup>. Кроватишка и без того-то коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая, от такого напора валится и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собою прикрывает.

12. Тут я понял, что некоторым переживаниям от природы свойственно приводить к противоречащим им последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так вот и я, превратившись из Аристомена в черепаху, в таком-то ужасе не мог удержаться от смеха. Пока, валяясь в грязи, под



прикрытием кровати, смотрю украдкой, что будет дальше, вижу двух женщин пожилых лет. Зажженную лампу несет одна, губку и обнаженный меч — другая, и вот они уже останавливаются около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом:

— Вот, сестра Пантия, дорогой Эндимион<sup>33</sup>, вот котик мой<sup>34</sup>, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался, вот тот, что любовь мою презирал и не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, значит, как хитрым Улиссом брошенная, вроде Калипсо, буду оплакивать вечное одиночество!<sup>35</sup> — А потом, протянув руку и показывая на меня своей Пантии, продолжала: — А вот добрый советчик, Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив, ни мертв теперь на полу лежит, из-под кровати смотрит на все это и думает безнаказанным за оскорбления, мне нанесенные, остаться! Но я позабочусь, чтобы он скоро, да нет! — сейчас и даже сию минуту понес наказание за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство!

13. Как я это услышал, холодным потом, несчастный, покрылся, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей, дрожа, затанцевала. А добрая Пантия говорит:

— Отчего нам, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам<sup>36</sup>, или, связав по рукам и по ногам, не оскопить?

На это Мероя (теперь я отгадал ее имя, так как описания Сократа и в самом деле к ней подходили) отвечает:

— Нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного. — И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех<sup>37</sup>, так, чтобы нигде ни одной капли не было видно. Своими глазами я это видел. К тому же (для того, думаю, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения), добрая Мероя, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, в рану и покопавшись там, вынула сердце моего несчастного товарища<sup>38</sup>. Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный из раны вырвался, и он испустил дух. Затывая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала:

— Ну ты, губка, бойся, в море рожденная, через реку переправляться!<sup>39</sup>

После этого, отодвинув кровать и расставив над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей мочой меня совсем не залили.

14. Лишь только они переступили порог — и вот уже двери встают в прежнее положение как ни в чем не бывало, петли опять заходили<sup>40</sup>, брусья запоров снова вошли в косяки, задвижки вернулись на свои места. Я же, как был, так



и остался на полу, простертый, бездыханный, голый, иззябший, залитый мочой, словно только что появившийся из материнского чрева или, вернее, полумертвый, переживший самого себя, как последыш, или, по крайней мере, преступник, для которого уже готов крест<sup>41</sup>.

— Что будет со мною, — произнес я, — когда утром обнаружится этот зарезанный? Кто найдет мои слова правдоподобными, хоть я и буду говорить правду? «Звал бы, — скажут, — на помощь, по крайней мере, если ты, такой здоровенный мужчина, не мог справиться с женщиной! На твоих глазах режут человека, а ты молчишь! Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления и доносчика? Но хотя ты и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься».

Подобные мысли снова и снова приходили мне в голову; а ночь близилась к утру. Наилучшим мне показалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь, хотя бы ощупью. Беру свою сумку и, вставив в скважину ключ, стараюсь отодвинуть задвижку. Но эти добрые и верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни с ключом с великим трудом, наконец, дали мне дорогу.

15. Я закричал:

— Эй, есть тут кто? Откройте мне дворовую калитку: до свету хочу выйти!

Привратник, позади калитки на земле спавший, говорит спросонья:

— Разве ты не знаешь, что на дорогах беспокойно — разбойники попадают! Как же так ночью в путь пускаешься? Если у тебя такое преступление на совести, что ты умереть хочешь, так у нас-то головы не тыквы<sup>42</sup>, чтобы из-за тебя умирать!

— Недолго,— говорю,— до света. К тому же, что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голого раздеть десяти силачам не удастся?

На это он, засыпая и повернувшись на другой бок, еле языком ворочая, отвечает:

— Почему я знаю, может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?

При этих словах (до сих пор помню) показалось мне, что земля до самого Тартара расселась и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мероя не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для креста сохранила.





16. Итак, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни. Но так как судьба никакого другого смертоносного орудия, кроме одной только моей кровати, не предоставила, то начал я:

— Кроватька моя, кроватька, дорогая сердцу моему, ты со мной столько несчастий претерпела, ты по совести знаешь, что ночью свершилось, тебя одну могу на суде я назвать свидетельницей моей невинности. Мне, в преисподнюю стремящемуся, облегчи туда дорогу! — И с этими словами я отдираю от нее веревку, которая на ней была натянута<sup>43</sup>; закинув и прикрепив ее за край стропила, который выступал под окном<sup>44</sup>, на другом конце делаю крепкую петлю, влезая на кровать и, на погибель себе так высоко поднявшись, петлю надеваю, всунув в нее голову. Но когда я ногой оттолкнул точку опоры, чтобы под тяжестью тела петля сама затянулась у горла и прекратила мое дыхание, внезапно веревка, и без того уже гнилая и старая, обрывается, и я лечу с самого верха, обрушиваюсь на Сократа, что около меня лежал, и, падая, вместе с ним, качусь на землю.

17. Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло:

— Где же ты? Среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь хранишь, закутавшись?

Тут Сократ, разбуженный, не знаю уж, падением ли нашим или его неистовым криком, первым вскочил и говорит:



— Недаром все постояльцы не терпят этих трактирщиков! Этот нахал вламывается сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня, усталого, будит от глубокого сна своим оранием.

Я весело и бодро поднимаюсь, неожиданным счастьем переполненный.

— Вот, надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат. А ты с пьяных глаз болтал ночью, что я его убил! — с этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но отвратительная вонь от жидкости, которою меня те ламии<sup>45</sup> залили, ударила ему в нос, и он с силой оттолкнул меня.

— Прочь! — говорит он. — Несет, как из отхожего места!

И начал меня участливо расспрашивать о причинах этого запаха. А я, несчастный, отделившись кое-как наспех придуманной шуткой, стараюсь перевести его внимание на другой предмет и, обняв его, говорю:

— Пойдем-ка! Почему бы нам не воспользоваться утренней свежестью для пути?

Я беру свою котомку, и, расплатившись с трактирщиком за постой, мы пускаемся в путь.

18. Мы шли уже довольно долго, и восходящее солнце все освещало. Я внимательно и с любопытством рассматривал шею своего товарища, то место, куда вонзили, как я сам видел, меч. И подумал про себя:



— Безумец, до чего же ты напился, если тебе привиделись такие странности! Вот Сократ: жив, цел и невредим. Где рана? Где губка? И где, наконец, шрам, такой глубокий, такой свежий?

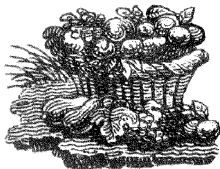
Потом, обращаясь к нему, говорю:

— Недаром опытные врачи тяжелые и страшные сны приписывают обжорству и пьянству!<sup>46</sup> Вчера, к примеру, не считал я кубков, вот и была у меня жуткая ночь с ужасными и жестокими сновидениями — до сих пор мне кажется, будто я весь залит и осквернен человеческой кровью!

На это он, улыбнувшись, заметил:

— Не кровью, а мочой! А впрочем, мне и самому пришло, будто меня зарезали. И горло болело, и, казалось, само сердце у меня вырывают: даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг нетверд и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь.

— Вот тебе, — отвечаю, — и завтрак! — С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и спешно протягиваю ему хлеб с сыром. — Сядем, — говорю, — у этого платана.



19. Мы уселись, и я тоже принимаюсь за еду вместе с ним. Смотрю я на него, как он с жадностью ест, и замечаю, что все черты его заостряются, лицо смертельно бледнеет и силы покидают его. Живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, будто снова приближаются к нам ночные фурии<sup>47</sup>, и от страха кусочек хлеба, который я откусил, как ни мал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. Видя, как мало на дороге прохожих, я все больше и больше приходил в ужас<sup>48</sup>. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, наевшись до отвала, стал томиться нестерпимой жаждой. Ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от платана протекала медленная река, вроде тихого пруда, цветом и блеском похожая на серебро или стекло.

— Вот,— говорю,— утоли жажду молочной влагой этого источника.

Он поднимается, быстро находит удобное местечко на берегу, становится на колени и, наклонившись, жадно тянется к воде. Но едва только краями губ коснулся он поверхности воды, как рана на шее его широко открывается, губка внезапно из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело полетело бы в воду, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с тру-

дом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника, песчаной землею около реки навеки его и засыпал. Сам же, в ужасе, трепеща за свою безопасность, разными окольными и пустынными путями, я убегаю и, словно действительно у меня на совести убийство человека, отказываюсь от родины и родимого дома, приняв добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Этолии<sup>49</sup>.

20. Вот что рассказал Аристомен.

Но спутник его, который с самого начала с упорной недоверчивостью относился к рассказу и не хотел его слушать, промолвил:

— Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья! — Потом, обратившись ко мне: — И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?

— Я, по крайней мере, — отвечаю, — ничего не считаю невозможным, и, по-моему, все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные и почти невероятные вещи, которым никто не поверит, если рассказать о них неиспытавшему. Но я этому человеку и верю, клянусь Геркулесом, и большой благодарностью благодарен за то, что он доставил нам удовольствие, позабавив интересной историей: я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому бла-



годеянию: ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, чем на ее спине.

21. Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговорам, потому что оба моих спутника свернули налево к ближайшей усадьбе, а я, войдя в город, подошел к первой попавшейся мне на глаза гостинице и тут же начал расспрашивать старуху-хозяйку:

— Не Гипата ли, — говорю, — этот город?

Подтвердила.

— Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей?

Рассмеялась.

— И вправду, — говорит, — первейшим гражданином считается здесь Милон: ведь дом его первый из всех — по ту сторону городских стен стоит.

— Шутки в сторону, добрая тетушка, скажи, прошу тебя, что он за человек и где обитает?

— Видишь, — говорит, — крайние окна, что на город смотрят, а с другой стороны, рядом, ворота в переулок выходят? Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп донельзя, и всем известен как человек преподлый и прегрязный, больше всего ростовщичеством занимается, под залог золота и серебра проценты большие дерет; одной наживе преданный, заперся он в своем домишке и живет там с женой, разделяющей с ним его несча-

стную страсть. Только одну служаночку держит<sup>50</sup> и ходит всегда, как нищий.

На это я, рассмеявшись, подумал: вот так славную и предусмотрительную мой Демея дал мне в дорогу рекомендацию. К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони.

22. Дом был рядом, приближаюсь я ко входу и с криком начинаю стучать в накрепко закрытую дверь. Наконец, является какая-то девушка.

— Эй, ты, — говорит, — что в двери барабанишь? Под какой залог займа брать хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что, кроме золота и серебра, у нас ничего не принимают?

— Займы? Ну, нет, пожелай мне, — говорю, — чего-нибудь получше и скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина?

— Конечно, — отвечает, — а зачем он тебе нужен?

— Письмо я принес ему от Демея из Коринфа<sup>51</sup>.

— Сейчас доложу, — отвечает, — подожди меня здесь.

С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв двери, говорит:

— Просят.

Вхожу, вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена<sup>52</sup> и, указав на пустой стол:

— Вот, — говорит, — милости просим.



— Прекрасно,— отвечаю я и тут же передаю хозяину письмо Демен.

Пробежав его, он говорит:

— Спасибо моему Демее, какого гостя он мне послал!

23. С этими словами он велит жене уступить мне свое место. Когда же я отказываюсь из скромности, он, схватив за полу:

— Садись,— говорит,— здесь других стульев у меня нет, боязнь воров не позволяет нам приобретать утварь в достаточном количестве.

Я исполнил его желание. Тут он говорит:

— И по изящной манере держаться, и по этой почти девической скромности заключил бы я, что ты благородного корня отпрыск, и, наверное, не ошибся бы. Да и Демен мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудость нашей лачужки. Вот эта комната рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Сделай милость — остановись у нас. Честь, которую ты окажешь моему дому, возвеличит его, и тебе будет случай последовать славному примеру: удовольствуясь скромным очагом, ты в добродетели будешь подражать Тезею, знаменитому тезке твоего отца, который не пренебрег простым гостеприимством старой Гекалы<sup>53</sup>. — И, позвавши служаночку, говорит: — Фотида, прими вещи гостя и сложи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масла для натирания,

## СОДЕРЖАНИЕ

Золотой осел

*Пер. М. А. Кузмина, ред. С. П. Маркиша*

*(кн. I—III, VII—XI) и А. Я. Сыркина (кн. IV—VI) . . . . 5*

Книга первая . . . . .	7
Книга вторая . . . . .	35
Книга третья . . . . .	69
Книга четвертая . . . . .	101
Книга пятая . . . . .	137
Книга шестая . . . . .	171
Книга седьмая . . . . .	205
Книга восьмая . . . . .	237
Книга девятая . . . . .	273
Книга десятая . . . . .	321
Книга одиннадцатая . . . . .	365

Примечания

*С. П. Маркиш . . . . . 403*